

МОЙ ДРУГ

Из фронтового дневника

В фронтовой записной книжке под буквой «М» я нашел карандашную запись: «Оганес Мовсесян».

Где, собственно, я мог это записать? В землянке у третьего орудия, когда в синий майский вечер мы затянули песню: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага», или при скудном фитиле в блиндаже, когда ненадолго затихает гул канонады?

Я вспомнил дни на батарее, дни между боями в тиши безветрия и свиста пурги. Вспомнил высокий берег Северного Донца, где стояла батарея Оганеса Мовсесяна, прикрывающая переправу.

Мы сидели тогда на вершине поросшей кустарником скалы, свесив ноги в окоп, рядом с 45-миллиметровой пушкой и куряди, пряча самокрутки в рукава шинели. В стороне молчаливо прислушивался к разговору старшина Николай Богатырчук. Где-то далеко вспыхивали зарницы орудийных выстрелов, но снаряды не долетали до нас. Мовсесян вполголоса говорил, мечтательно глядя в звездное небо:

— В тихие вечера мы будем рассказывать друзьям своим, женам и детям про войну. Такие же звезды будут светить на небе, горизонт так же будет освещать зарницы, только настоящие, красивые и нежные, а не кровавые, как сейчас.

Спросят меня друзья о вой-

не — что я им расскажу? Как рвутся снаряды или жужжат пули, как лопаются мины или воют бомбы? В этом ничего интересного нет. Не это главное. Мины и пули всегда одинаковы. А вот человека такого, чтобы всем был похож на другого, не найдешь. Каждый ведет себя в бою по-разному.

Мовсесян помолчал, самокрутка его погасла, и он прикурил от моей.

— Людей у нас хороших много, — продолжал он. — А все-таки каждый себе в друзья одного выбирает, самого близкого, с которым и радости, и печали — пополам, и последний сухарь — на двоих.

— Было это в Волчанских хуторах. Непостижимо, но факт останется фактом: десять дней батарея отдыхала здесь. Мы блаженствовали. Отсыпались — прихватывали «минутку триста», наворачивая упущенное в дни боев. Мы отдыхали, нежась на жестких нарах землянок, прислушиваясь к непривычной тишине. Мы даже устроили баню: в соседнем доме хозяйка дала нам корыто, затопила печь, согрела воды, и мы терли друг другу спины в жарко натопленной комнате и, красные, распаренные, счастливые, возвращались в землянку.

В землянке пахло горьким дымком и свежей хвоей. В железной печурке весело плясал огонек. Отблеск пламени освещал коряжастого, крепко сложен-

ного, с открытым взглядом молодого лейтенанта.

— Давайте знакомиться. Грязнов, а зовут Владимир. Назначен к вам заместителем.

Так это у него просто вышло, что для меня он каким-то родным, близким стал. Он не был многоречив, понимал юмор и сам им нередко пользовался. Не обижался, когда кто-нибудь из нас дружески подшучивал над ним. И мы не обижались на него. Никогда не возникало никаких споров, никто из нас ни разу не ловысил на другого голос.

И, честное слово, такого порядка, как в расчете Аршака Балояна, куда он был прикреплен, не было ни в одном из расчетов батареи. Самая вычищенная, выдраенная до блеска пушка была в этом расчете, самые протертые и слегка, самую малость, смазанные солидолом снаряды аккуратно лежали в ящиках, а лопаты — второе оружие любого солдата, в особенности артиллериста, — так отточены, что только копья — готов окоп полного профиля. — Это были лопаты расчета Балояна.

За банником — чистить орудийный ствол — приходили к нему: за веревкой, которой пользовались вместо циркуля, чтобы разметить окоп под орудие, — снова в его расчет обращались; даже ветошь просили у него. Знали, у него в рас-

чете всегда все в полном порядке.

Был Грязнов хорошим, веселым товарищем. Душа в душу с ним жили, но ни разу еще не приходилось видеть его в опасности, а ведь только в бою, где смерть кругом ходит, человек всего себя проявляет. Владимир и в первый бой пошел веселым.

На нашу батарею шли немецкие танки. Мы тогда в самом бою учились, как бить их поганых. Стреляем, стреляем, а они все ближе идут, хоть бы что, как будто не снаряды из наших пушек летят, а только дым да огонь.

Несколько танков наша батарея подбила. Наступило затишье.

— Вот это спектакль, так спектакль, — слышу голос Грязнова.

Ничего он больше не сказал, как будто и слова не к месту были, а услышал его голос, увидел его лицо, от пороховой гари еще более черное, чем всегда, — и, как ветром, сдуло усталость. Понимаете, это был замечательный человек, мой заместитель. Очень большая потеря для батареи...

— Он, что же, погиб?

— Пошел по госпиталям, ему все лицо изуродовало. А дальше — кто знает. След его пропал.

Командир батареи неожиданно умолк. Видимо, воспоминания растревожили его сердце. Он

медленно свернул новую самокрутку, высек под шинелью огонь и дал мне прикурить.

— Четыре бронированные громады двигались к переднему краю обороны, — затянувшись, продолжал Мовсесян. — Трудный и горький был день. Балоян погиб, а Грязнов ждал, когда фашисты подойдут ближе, чтобы ударить наверняка. Когда до головной машины оставалось не более двухсот метров, Грязнов открыл огонь. Несколькими выстрелами ему удалось подбить машину. Танк остановился. Остальные машины, развернувшись, двинулись на бойцов, стреляя из пушек и пулеметов. Огонь открыли все расчеты. Завязалась ожесточенная борьба с бронированными чудовищами. Артиллеристы подбили и сожгли все три танка. В это время в воздухе появился корректировщик «Фокке-Вульф-189».

— «Горбыль», — неожиданно вставил Богатырчук, — или еще «рамой» называется.

— Правильно, Богатырчук, — заметил Мовсесян, — не зря пулеметчиком был.

— Так точно, товарищ старший лейтенант. Вторым номером. Командир роты тогда еще по телефону пошутил, чтобы мы на этой «гитаре» жарче играли.

— Какая же тут шутка? Вам серьезно приказали сбивать скорее, а не гонять по небу. Раньше бы сбили, может быть, и потерь меньше было бы, не потеряли Грязнова.

Мовсесян и Богатырчук говорили об этом бое, как о чем-то большом, волнующем. Мне представился тот осенний день, когда артиллеристы дрались, как львы, и этого сильного человека, символ стойкости батарейцев, который, наспех перевязав рану, вступил в борьбу с немецким танком и подбил его.

— Я вынул у него из лителя

осколок, — вспомнил старшина, — а он спокойно крутит папиросу и говорит: «Вот и хорошо, сохраним на память, а теперь понесем с вами раненых в укрытие». Ну, тут снаряд так стукнул, что я только помню, как с земли поднимался лейтенант лежал рядом, лицо в крови, и стонал: «Глаза... глаза...».

Свистит холодный ветер, пронизывает насквозь. Мы дрогли и дрожали от холода. Уже в землянке, где было жарко и душно, Мовсесян сказал:

— Есть вещи, которые ставятся дороги спустя какое-то время. Хоть мы и в камнях живем, но ведь не каменные. Взрослые люди вообще не любят объясняться в чувствах. А уедет, скажем, Богатырчук на курсы младших лейтенантов, пожалуй, помянем его добрым словом, вспомним, как мы его ругали за то, что лампа у него всегда коптит, а в сущности, парень он был неплохой.

Богатырчук смущенно шмыгнул носом, схватил старую газету и, осторожно сняв с коптившей лампы стекло, занялся направлением фитиля.

— После того было еще много боев, — заметил командир батареи. — Стою около расчетов, подаю команду, слежу за ребятами, а сам все время думаю: «Вот тут Володя стоял, вот так он снаряд подавал, когда это надо было». И ничего с собой поделаться не могу. Жены у меня нет, отца потерял еще ребенком. Теперь я и лучшего друга потерял...

— Вот я и говорю, — возвращаясь к началу разговора продолжал Мовсесян, — если доживу до того времени, что придется о войне рассказывать, первое, о чем буду говорить, — о своем друге. Жив ли он, увижусь ли еще с ним когда-нибудь? Все равно, о нем будет мой первый рассказ, о русском

человеке, о моем друге Владимире Грязнове, о человеке, с которым рядом и драться весело, и умирать не страшно...

Мы расстались на рассвете, когда по ущельям прокатились первые взрывы. Начинался обычный боевой день. Я пошел в другую часть. Через несколько дней возвращался той же дорогой. Я слышал, что за эти дни артиллеристы Оганеса Мовсесяна 93 Краснознаменного полка подбили и сожгли не одну гиллеровскую машину. Завернул на батарею, чтобы расспросить у Мовсесяна об этих боях.

Он встретил меня радостно, как старого знакомого. Мы поздоровались, и он со свойственной ему горючостью вынул из кармана сложенное треугольником письмо.

— Вот, — сказал он, — скоро Володя закончит курс лечения и вернется. Обязательно вернется. Я ему верю.

— Значит, он жив?

— Да, жив. Пишет, что врачи вытащили из могилы. В госпитале, едва не разбомбили, чудом уцелел.

— Как прошли бои? — спросил я.

— Обыкновенно. Бои, как бои, — ответил Мовсесян.

Я уже знал, что в этих боях его батарея подбила два и сожгла шесть немецких танков. Хотел знать, как это произошло, но не спешил с расспросами. Я понимал, что последние бои ничем не выделялись в жизни Оганеса Мовсесяна: бить и жечь немецкие танки стало обычным делом, каким до войны было водить трактор по краю золотистого пшеничного поля в родном Ехегнадзоре. Главным событием этих дней для него было сложенное треугольником письмо, вернувшее ему друга.

А. МАТХАШЯН.